

НИКОЛАЙ ГАРИН-  
МИХАЙЛОВСКИЙ

**АКУЛИНА**

Часть сборника: Деревенские панорамы (сборник)

Деревенские панорамы

Николай Гарин-Михайловский  
**Акулина**

«Public Domain»

1894

## **Гарин-Михайловский Н. Г.**

Акулина / Н. Г. Гарин-Михайловский — «Public Domain»,  
1894 — (Деревенские панорамы)

«Здоровая баба Акулина, веселая, сквозь рваную рубаху сбитое розовое тело так и светится. И в глазах веселых, небольших, голубых светится и отливает на лицо, на губы, небольшие, красные, сочные, на ряд жемчужных белых зубов...»

## Николай Гарин-Михайловский

### Акулина

Здоровая баба Акулина, веселая, сквозь рваную рубаху сбитое розовое тело так и светится. И в глазах веселых, небольших, голубых светится и отливает на лицо, на губы, небольшие, красные, сочные, на ряд жемчужных белых зубов.

Здорова Акулина, здорова и в работе: всякого мужика за пояс заткнет. И нравом мягка. Пристали родители, чтобы за вдового шла: пёс с ним, пошла! Вдовый да хилый, да парнишка... Этакое лежебока и не видала Акулина. Только бы ему и шляться век свой вечный с парнями по ночам, да водку пить, да сигарки курить. Хотя и не умела сердиться Акулина, а все, бывало, не стерпит и крикнет на Алешку.

Кричи, пожалуй: картуз надел и пошел. Ну, да пес с ним, не ее кровь: своих четверо живы да трое померли. Отец балует Алешку. А она тут что может?

Не мудрый и муж достался Акулине: молчит, и слова от него не услышишь. Бывало, на сходе только гул стоит. Павел Кочегар – труба иерихонская – орет, что есть мочи, а Иван стоит себе сзади всех да еще шапку на уши надвинет и голову опустит, только нос тонкий, хрящеватый торчит. Землю ли пойдут делить, уж Ивану непременно всучат такую, что только козлец да молочай и родится на ней.

– Эх ты, вахромей, – вздернет носом Акулина и вздохнет.

Иван славился как хороший плотник, но работал тихо. Копается себе, посмотрит с одной стороны, зайдет с другой, задумается и стоит. То сруб кому-нибудь ладит, то надумает телегу чинить – тянет, тянет, всю душу проворной Акулине вымотает. Воли все-таки Акулине Иван над собой не давал. Тихий, тихий, а выходило так, что Акулина его и уважала, и боялась, и любила. Да и на деревне в один голос говорили про Ивана хорошо.

Хороший был человек, даже жена управителя, у которой все бывали хороши только до тех пор, пока бывали далеко, и та постоянно говорила, что Иван хороший человек.

Плотничество да посев кормили семью, и хоть не богато, а жили не хуже людей. Лошадь была, телку второй год растили. Бог даст, свое молоко будет – ребятишкам легче станет, а то на пустых щах да на хлебце трудно малым. А, впрочем, ребятишки или умирали, или, уж если оставались, были такие здоровые да круглые, что Акулина только удивлялась, с чего только нагул у них берется?

Как-то чинил Иван мельницу, задумался ли, по своему обыкновению, так ли уж на роду ему было написано, но сорвался он с самого верху. Так и думали, что жив не будет. Домой принесли: белый, как бумага, а сам стонет, стонет, мечется: обробел.

– Ох, ох! смерть моя пришла!

Откроет большие, большие глаза и поведет кругом.

Притихла Акулина, точно ее здесь вина, только смотрит, да нет-нет и взвояет. Сбежался народ, за попом поехали. Кровь горлом пошла – сильней заметался Иван.

Батюшка приобщил и посоветовал к доктору везти.

Это было легко посоветовать, но гораздо труднее исполнить. Двадцать пять верст на тряской телеге, когда, того и гляди, помрет, где уж? Дело обошлось по-старинному: раздобыли знахарку, истопили баню, влили Ивану стаканчик водки сквозь стиснутые зубы, раздели, и стала знахарка «направлять» его. Мяла, мяла и домялась: стал Иван кричать не своим голосом. Далеко баня от села, а крик Ивана так и резал по сердцу обитателей.

– Правят, – говорил угрюмо кто-нибудь.

– Правят, – соглашался другой.

Ребятишки, сбившись в кружок, сидели на огороде и не сводили глаз с страшной бани, откуда несся рев Ивана.

Трудная была задача для знахарки: два ребра переломанных внутрь вошли, а назад на место не идут, хоть ты что. И так, и этак, и растягивать пробовали: одни тянули на себя, а другие от себя, а бабка в это время ловила пальцами упрямые ребра. Одно выпрямили, а другое до завтра оставили, потому что Иван совсем обеспамятовал. Но и назавтра успеха не было.

Еще два раза пробовала бабка править ребро и тоже без успеха. Да и Ивану уж не вмоготу стало, а главное явилась надежда, что и так, бог даст, выправится.

Выправиться-то выправился, но уж не тот человек стал: на тяжелой работе, чуть что, грудь заложит; с лица желтый. Все-таки месяца через три принялся опять за плотничество, но от поля совсем отстал.

Поле Акулина взяла в свои руки.

Ветер раздувает подол, надувает рубаху – катит Акулина по борозде, поспеваает за Бурком, соху держит раскорякой, по-бабьи, смешно, а работа идет.

Смеется народ на непривычное занятие бабы.

Бросят работу и смотрят. Смеется и Акулина:

– Мне что? Пошла да пошла.

– Ты гляди, вспахала-то не хуже мужика.

– Може, и лучше, – весело шепчет себе под нос Акулина, заноса соху на новую борозду.

– Вот так баба! Пра-а!

Косить научилась. Не всякий и мужик еще косу в руках держать умеет, а уж баба, конечно, только знает что свой серп: прежде везде серпы только и были. Это со степи уж ухватку переняли косой косить, – там ведь и хлеб так косят.

– Бабы, а бабы! – кричит весело Акулина, – да вы что мучаетесь, по траве-то елозя серпом... Ты глядь, спины не согнешь...

Оторвутся бабы от земли, выпрямят спины и смотрят, как Акулина пошла: только сверкает да свистит коса, а Акулина даже визжит от удовольствия и головой трясет:

– И... их!

Посмотрят, посмотрят и опять примутся за свои серпы, и пошли мелькать, точно вьюны на сковороде: нагнется, ухватит горсть травы, подрежет, выпрямится, бросит, в бок перегнется, – в другой. Ступила шаг дальше: опять нагнулась, поднялась – нагнулась, поднялась – и новый шаг. День-то длинный: на каждый шаг три поклона земных да быстрых – только голова мелькает: друг перед дружкой поспевают. А Акулина уж где? дошла до межи и назад катит.

– Медведь! У-у!

– Берегись, разнесу!

Тут в поле и весь дом ее: четверо, пятый, грудной, орет благим матом в колыске.

– Сунь ему соску, – кричит Акулина Никитке.

– Не хоче.

– А пес с ним! Пусть орет, глотка ерихонская выйдет, – весело махнет рукой Акулина, – не все Кочегару! отец молчальник, сын поорет.

Если будущая иерихонская глотка не переставала орать, и рев начинал уже переходить в брюшной, Акулина бросала косу, обдергивала юбку, вытирала пот и деловито серьезно говорила:

– Надо идти!

Подойдет, вынет ребенка из люльки, присядет, вывалит свою громадную грудь и сразу закупорит ею иерихонскую глотку. Сосет здоровый бутуз, надувается, только пузыри летят из носу. Акулина подождет губы и смотрит молча в привольную даль.

Наелся и спи.

– Ты, слышь, от косы молоко-то в грудях не так перегорат, – бросает она по дороге худой и желтой Варваре, которая то и дело кидается к своему болезненному мечущемуся ребенку.

Варвара не отвечает и не глядит – и так, кажись, в гроб бы живую легла: самую ломает, ребенок донял, и что больше корми его, то хуже да хуже.

– Всю меня вытянул, – шепчет тоскливо Варвара и сильнее жмет пальцами свою тощую грудь.

А Акулина уж схватилась с каким-то парнем, и пошла у них возня.

Акулина только кряхтит: охота свалить парня, и шепчет она, стиснув зубы:

– Врешь, одолею.

И хохот же, когда брякнется о землю парень, а Акулина сверху.

Бойка Акулина, а слуха худого о ней нет. Глаза плутовские... может, и знает темная ночка да куст что-нибудь, – так ведь только они и знают, чем, может быть, кончилась веселая помочь, затянувшаяся до самой темной ноченьки, темной да звездной, да мягкой, да пьяной.

На другой день где-нибудь, на пруду за бельем в серый летний денек, под нахлынувшей вдруг жаркой волной воспоминанья о вчерашней пьяной ночке, замрет и вспыхнет Акулина. Полно, да было ли что? Не было, врет все глупая водка и куст, темная ночка и кровь, что огнем разлилась вдруг.

И, покорно вздохнув, Акулина потянет изо всей своей богатырской силы носом и пойдет колотить вальком, точно из ружья палит. А кругом тихо, пруд разлился и застыл. По берегу ветлы нагнулись, чуть приметная волна шевелит травку, по болотистому берегу кулики озабоченно бегают: ки, ки.

Таф! таф! – несутся удары валька.

Вороны высоко взлетели и подняли крик.

– Дождь будет.

Лягушки заквакали свой обычный перед дождем концерт. Еще подбавилось туч, потемнело небо, задумалось, и отдельные крупные капли дождя застучали кругом.

Подхватит белье и бежит Акулина.

Бежит в аромате дождя, в аромате жгучих воспоминаний. И от них и от дождя еще скорей бежит она в избу к ребятишкам и к большому мужу.

Порядился Иван с богатым мужиком Василием Михеевым сруб ему рубить, ударили по рукам и, как водится, пошли в кабаке магарычи пить.

Сидит в кабаке Иван и видит, бежит сама не своя с поля Акулина. Увидела его, повернулась и стала реветь, надрываясь.

– Ооой-ооой!

Выскочил Иван, Василий Михеев, Акулина качается да кричит:

– Ооой – Бурко сдох, Бурко!.. сдох Бурко... ооой! – ревет белугой Акулина.

Бегут со всех сторон и старый и малый. Поспевает бабушка Драчена.

– Батюшки, батюшки! Бурко сдох! – воет Акулина.

«Сдох Бурко», и белоголовые парнишки быстро смотрят друг на друга, на тетку Акулину, на людей.

Пять ее собственных уже вцепились ей в подол и ревут вместе с ней.

– Люди добрые, сдох Бурко, что ж я буду делать? Ооой!

– Что такое! – говорит Драчена. – Даве здоров был... с чего ж это?

– Ума не приложу, – сразу вдруг успокоилась Акулина. – Только так с три борозды и осталось допахать. Стал он – я ему «но!», а он на бок, на бок, да и сдо-о-ох!

– Не иначе, что с наговору, – сверкнула глазами Драчена.

– Кому я худо роблю? – огрызнулась Акулина.

– Кто говорит – худо?

– Мышки задушили, – бросил кто-то предположение.

– Мышки, не иначе, – согласился дядя Василий, – есть такие люди, что шило знают, где ткнуть, как они схватят: тут вот где-то... Проходит.

– Ооой!

Мимо шел старик Асимов, остановился, тряхнул головой и проговорил, идя дальше:

– Слезами горю не поможешь.

– И то, – согласилась Драчена, – идем, милая, – потянула она Акулину, – идем в избу, что при народе плакать?

Успокоили бабу. Сидит Акулина на пороге избы, плакать перестала, и глаза высохли, скосила слегка глаза и смотрит, смотрит в упор перед собой.

– Ты что – патентованная? – как-то в начале лета, захватив ее одну в поле, спросил толстый, вздутый, охотник до баб, управитель, слезая с бегунков и подходя к ней.

– Чего? – угрюмо собралась Акулина.

Управитель уже был около нее и жестами перевел смысл своего вопроса. Против жестов Акулина ничего особенного не имела, но против дальнейших попыток так энергично восстала, что, как ни бился управитель, так и убрался ни с чем.

– Напрасно, – говорил он, садясь на бегунки, – может, и пригодился бы когда.

Акулина, конечно, соглашалась, что пригодился бы, а не будь этого, так разве не сумела бы она ему закатить такую плюху, что он и не устоял бы, пожалуй.

– Напрасно, – подбирал вожжи управитель.

«Напрасно-то, напрасно, – думала Акулина, – ну да все-таки поезжай с богом: не из-за чего греха-то на душу принимать с тобой».

Так и уехал управитель ни с чем.

С тех пор и был сердит на Акулину. Едет и не смотрит. Красные, толстые губы сожмет пузырем и надуется: вот я какой! Акулина только усмехается, бывало, ему вслед.

Побилась без лошади Акулина и видит, что все дело повалится у нее, если не добьется коня: и озимь не посеет, и снопов не свезет, и яровую не вспашет, – прямо хоть бросай все дело. Надеялась на урожай, и урожай незавидный вышел. Надвигался страшный призрак нужды: она да Бурко тащили еще как-нибудь на своих плечах восьмерых, а она одна – хоть лопни, а не справится. И решила Акулина во что бы то ни стало, а добиться лошади.

Однажды когда управительша уехала к вечерне, а Иван куда-то запропал, Акулина, наскоро омывши лицо и надев новый платок, пошла на барский двор прямо к управителю.

– Иван Михайлович, я к тебе, – смущенно проговорила Акулина, остановившись у дверей его кабинета.

Она стояла красная, боря смущенье, стараясь улыбнуться, и смотрела исподлобья на Ивана Михайловича.

Иван Михайлович, – услышав чужой голос, прежде всего испугался. Он боялся всего: боялся, как огня, своей жены, боялся ночи, боялся караульчиков, крестьян, поджогов. Но зато, когда страх его оказывался напрасным, у него являлась потребность убедить и себя и других в том, что он не трус и, напротив, сам может на всякого нагнать страх. Иван Михайлович в таких случаях кряхтел, краснел, надувался и, по обыкновению плохо ворочая языком, точно рот у него был набит едой, начинал:

– Ты, пожалуйста... э... не думай... э... что я тебя испугался... э... Видишь?

Он показывал револьвер.

– Вот... одна минута... э... я человек горячий... я ничего не помню, когда рассержусь.

Только перед женой не проделывались все эти комедии, потому что, почти вдвое старше мужа, Марья Ивановна, за которой потянулся супруг из-за денег, видела своего мужа насквозь и презирала его. Нередко даже, в порыве ее благородного негодования, маленькие комнаты оглашались звонкой пощечиной: это жена била своего мужа.

Муж давал ей время скрыться и тогда, отпуская на волю свой гнев, бросался к дверям за ней и кричал;

– Убью!..

– Тебе что? – вскочил было быстро перед Акулиной Иван Михайлович с невольной тревогой в голосе.

Но когда тревогу сменило сознание, что перед ним Акулина, Иван Михайлович принял какой только мог важный вид и сурово спросил:

– Чего?

Акулина смутилась и робким, упавшим голосом начала:

– Ты будешь, что ль, сдавать срубы на весну?

Иван Михайлович иногда за экономический счет заготавливал зимой несколько срубов.

Акулина говорила, а Иван Михайлович все смотрел в ее загоравшиеся под его упорным взглядом глаза.

– Гм... – тяжело промычал красный Иван Михайлович, когда Акулина кончила.

И вдруг, сбросив сразу всю важность, сдерживая волнение, распустив свои толстые губы в лукавую улыбку, он произнес:

– А помнишь...

Акулина потупилась и замолчала.

– Пойдешь в ту комнату...

Иван Михайлович из своего известкой побеленного кабинета показал на дверь маленькой темной комнаты.

Акулина растерянно метнула на него глаза, ступила было ногой и не знала, шутит он или нет?

– Ну?

\* \* \*

Иван Михайлович сдал Ивану срубы и выдал тридцать рублей в задаток.

На деревне бабы покачивали головой и подозрительно сообщали друг другу:

– Сдал...

– Сдал.

– Акулина ходила...

– Акулина.

Только бабушка Драчена горой стояла за Акулину.

– Эх, бабы, – говорила она, – так ей-то чего делать? Два увальня на шее, пять своих мал мала меньше... Самой, что ль, в соху запрягаться. Да и то сказать, кто видел? Сказать не долго, а грех? Тоже ведь и ей-то никто не поможет...

– Кто поможет!

И когда потихоньку Драчена усмирила ропот, общий голос был: умная баба, с умом, а Драчена прибавляла:

– Так, матушка моя, ей-то еще без ума жить, так как же тут жить с этакой семейкой?

В первый базар отправилась Акулина с мужем лошадь покупать.

Счастье повезло: напали на такую же масть, как и у старого Бурко. И сходство со старым даже было, – только хвост пожиже у нового.

Так и купили с телегой и хомутом. Все было исполнено по обычаю. Старый хозяин взял лошадь правой рукой за повод, а Иван подставил ему свою правую ладонь, покрытую полою зипуна: голой рукой не годится принимать лошадь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.